

Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950).

Издание: Иван Шмелев, "Солнце мертвых", изд-во "Согласие", Москва, 2000.

OCR и вычитка: Александр Белоусенко (belousenko@yahoo.com), 9 апреля 2002.

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

Эпопея

Аннотация издательства:

Эпопея "Солнце мертвых" -- безусловно, одна из самых трагических книг за всю историю человечества. История одичания людей в братоубийственной Гражданской войне написана не просто свидетелем событий, а выдающимся русским писателем, может быть, одним из самых крупных писателей XX века. Масштабы творческого наследия Ивана Сергеевича Шмелева мы еще не осознали в полной мере.

Впервые собранные воедино и приложенные к настоящему изданию "Солнца мертвых", письма автора к наркому Луначарскому и к писателю Вересаеву дают книге как бы новое дыхание, увеличивают и без того громадный и эмоциональный заряд произведения.

Учитывая условия выживания людей в наших сегодняшних "горячих точках", эпопея "Солнце мертвых", к сожалению, опять актуальна.

Как сказал по поводу этой книги Томас Манн:

"Читайте, если у вас хватит смелости..."

Реквием

"Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежал от своего горя. Тщетно... Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно... И даже впервые видимая заграница -- не трогает... Мертвой душе свобода не нужна..."

Итак, я, может быть, попаду в Париж. Потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия на один или два месяца. И -- Москва! Смерть -- в Москве. Может быть, в Крыму. Уеду умирать туда. Туда, да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей жизнью... -- Сережей. -- Так я любил его, так любил и так потерял страшно. О, если бы чудо! Чудо, чуда хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут... Почему мы здесь и одни, совсем одни, Юлия! Одни. Пойми это! Бесцельные, ненужные. И это не сон, не иску, это будто бы жизнь. О, тяжело!.."

Так писал, вырвавшись из красной России за границу, Иван Сергеевич Шмелев своей любимой племяннице и душеприказчице Ю.А.Кутыриной в январе 1922 года.

Он еще не знал, что никогда не вернется на родину, еще таил надежду, что его единственный сын Сергей, расстрелянный во время большого террора конца 1920 - начала 1921 годов в Крыму, жив, еще не отошел от пережитого в маленькой, вымороженной и голодной Алуште. И еще не родился замысел названного "эпопеей" реквиема -- "Солнца мертвых".

Эпопея создавалась в марте-сентябре 1923 года в Париже и у Буниных, в Грассе. На калейдоскоп страшных впечатлений должна была лечь траурная тень личной трагедии. В "Солнце мертвых" о погибшем сыне -- ни слова, но именно глубокая человеческая боль, которую Шмелев не мог унять даже выстраданным словом, придает всему повествованию огромную масштабность. Многие знаменитые писатели, а среди них Томас Манн, Герхард Гауптман, Сельма Лагерлеф, считали "Солнце мертвых" самым сильным из созданного Шмелевым. Эмигрантская критика -- Николай Кузьман, Петр Пильский, Юлий Айхенвальд, Владимир Ладыженский, Александр Амфитеатов -- встретили шмелевскую эпопею восторженными откликами. Но, пожалуй, наиболее проникновенно написал о "Солнце мертвых" прекрасный прозаик Иван Лукаш:

"Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на "большие" языки..."

Читал ее за полночь, задыхаясь.

О чем книга И. С. Шмелева?

О смерти русского человека и русской земли.

О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба.

О смерти русского солнца.

О смерти всей вселенной, -- когда умерла Россия -- о мертвом солнце мертвых..."

Несмотря на ужас пережитого, Шмелев против русского человека не озлобился, хотя жизнь "новую" проклял. Но и там, под чужим небом, желал упокоиться в России, в любимой им Москве, 3 июля 1959 года Юлия Александровна Кутырина писала автору этих строк:

"Важный вопрос для меня, как помочь мне -- душеприказчице (по воле завещания Ивана

А

Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани) выполнить его волю: перевезти его прах и его жены в Москву, для успокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре..."

Творчество Шмелева, его память освещает солнце -- вечно живое солнце русского страдания и русского подвижничества.

Олег Михайлов

УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, -- опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока -- пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блески жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках -- чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат -- не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады -- с люстрами в голубых огнях -- огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов -- нездешних. Я хожу и хожу по залам -- ищу...

Кого я с великой мукой ищу -- не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... -- подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду -- цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных -- с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит -- я чувствую это щемящей болью, -- что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они -- вне жизни. Уже -- нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она -- Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям -- теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огорожке помидоры -- правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!...

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балам, рубить "кутюки" эти, дубовые корневища. Опять все то же!...

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела -- только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц -- август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый "кальвиль" -- и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит "кальвиль" на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье -- милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготавливать к зиме топливо. Зачем -- не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном -- стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг -- точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло -- можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею -- для будущего, из крови настряпают "кубиков" для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям

жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни -- на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо открыть ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь -- и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшейся в лесных щелях, сорвавшейся с лугов, от Яйлы. Это -- последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке -- корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, повесили на себя тяжелые бусы-грушки -- "мари-луиз".

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю -- малютка гора Кагель, крепость над виноградниками, греющими надалеко славой. Там и золотистый "сотерн" -- светлая кровь горы, и густое "бордо", пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! -- кровь темная. Сторожит Кагель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся -- лесная.

Правее, дальше -- крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром -- розовый, к ночи -- синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а -- близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все -- в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще -- мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно -- дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все -- нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, -- под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и -- не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, -- под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кагелем, не будет винограда, что в белых домиках -- пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напилась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет -- прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там -- мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь -- убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет -- только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую "буздурхан", все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот -- бельмо на глазу, калека. Когда-то -- Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит -- кривится. Давно обобрали ее вору, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки -- болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие укусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна, -- и ее захватил павлин.

ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь -- ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди -- ничьи. Так и павлин -- ничей.